

✦ Классическое наследие

Л. ВИРТ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ИДЕОЛОГИИ И УТОПИИ» К. МАНГЕЙМА¹

Оригинальное немецкое издание «Идеологии и утопии» вышло в свет в атмосфере острой интеллектуальной напряженности и обстановке широчайшей дискуссии, которая стихла лишь с изгнанием или вынужденным молчанием тех мыслителей, которые искали честного и логичного решения поднятых проблем. С тех пор конфликты, приведшие в Германии к краху либеральной Веймарской республики, ощущались в странах всего мира, особенно в Западной Европе и в США. Интеллектуальные проблемы, некогда считавшиеся специфической заботой немецких авторов, накрыли собою буквально весь мир. То, что прежде считалось эзотерическим увлечением горстки интеллектуалов в одной отдельно взятой стране, стало общим положением современного человека.

В ответ на эту ситуацию выросла целая гора литературы, повествующей о «конце», «упадке», «кризисе», «разложении» или даже «смерти» западной цивилизации. Но несмотря на тревогу, сквозящую в таких заголовках, тщетно разыскиваем мы в большей части этой литературы анализ базовых факторов и процессов, лежащих в основе нашего социального и интеллектуального хаоса. На фоне этих писаний труд профессора Мангейма выделяется как трезвый, критичный и основательный анализ социальных течений и ситуаций нашего времени с точки зрения их влияния на мышление, веру и действие.

Для нашего периода, видимо, характерно, что нормы и истины, которые считались некогда абсолютными, универсальными и вечными и принимались в блаженном неведении об их импликациях, ставятся под вопрос. В свете современной мысли и исследований многое из того, что когда-то принималось на веру, объявляется нуждающимся в доказательстве. Предметом

¹ Впервые опубликовано в издании: *Mannheim K. Ideology and Utopia* / Trans. by Louis Wirth, Edward Shils. N.Y., 1936. P. XIII—XXXI. Перевод выполнен по изданию: *Community Life and Social Policy: Selected Papers by Louis Wirth*. Chicago, 1956. P. 35—54.

споров стали сами критерии доказательства. Мы наблюдаем всеобщее недоверие не только к достоверности идей, но и к мотивам тех, кто их выдвигает. Эту ситуацию усугубляет война каждого против всех, царящая на интеллектуальной арене, где заветной наградой стало личное самопревознесение, а не истина. Возрастающая секуляризация жизни, обострение социальных антагонизмов и акцентирование духа персонального соперничества просочились в области, в которых прежде безраздельно царил бескорыстный и объективный поиск истины.

Сколь бы тревожным ни казалось это изменение, оно имело также и свои благотворные последствия. Среди них можно было бы упомянуть тенденцию к более доскональному самоанализу и к более полному осознанию взаимосвязей между идеями и ситуациями. Хотя рассуждения о благотворных влияниях, вытекающих из переворота, потрясшего основания нашего социального и интеллектуального порядка, могли бы показаться черным юмором, все же необходимо утверждать, что зрелище изменений и путаницы, предстающее перед социальной наукой, предоставляет ей в то же время и беспрецедентные возможности для плодотворного нового развития. Это новое развитие, однако, зависит от полного осознания тех препятствий, которые преследуют социальную мысль. Это не означает, что самоочищение является единственным условием дальнейшего прогресса социальной науки, как будет показано ниже, но только что оно есть необходимая предпосылка дальнейшего развития.

I

Прогресс социального познания в настоящее время сдерживается, если не парализуется, двумя основополагающими факторами: первый воздействует на познание извне, второй функционирует внутри самого мира науки. С одной стороны, власти, блокировавшие и сдерживавшие поступательное развитие знания в прошлом, до сих пор не убеждены в том, что прогресс социального познания совместим с тем, что они считают своими интересами; с другой стороны, попытка перенести традицию и весь аппарат научной работы из сферы физического в сферу социального часто порождали путаницу, недоразумения и стерильность. Научному мышлению о социальных делах приходилось вплоть до настоящего времени вести войну в первую очередь против установившейся нетерпимости и институционализированного подавления. Оно боролось за то, чтобы утвердить себя в противовес своим внешним врагам: авторитарному интересу церкви, государства и племени. В последние столетия, однако, была одержана, по крайней мере, частичная победа над этими внешними силами, что принесло некоторую меру терпимости к ничем не ограниченному исследованию и даже поощрению свободомыслия. В недолгий промежуток времени между эпохами средневековой одухотворенной темноты и возвышения современных секулярных диктатур западный мир

обещал исполнить надежду просвещенных умов всех эпох на то, что благодаря полному развертыванию интеллектуальных сил люди смогут восторжествовать над превратностями природы и изъятиями культуры. Однако теперь, как это часто бывало и в прошлом, надежда эта, судя по всему, поумерилась. Целые нации официально и с гордостью за самих себя предали культу иррациональности; даже англосаксонский мир, долгое время являвшийся гаванью свободы и разума, продемонстрировал недавно рецидивы интеллектуальной охоты на ведьм.

В процессе развития западного мышления (*mind*) стремление к знанию о физическом мире увенчалось — после мук теологических гонений — уступкой естественной науке ее собственного автономного царства. После XVI в., если не брать отдельные показательные исключения, теологический догматизм уходил из одной области познания за другой, пока авторитет естественных наук не стал, наконец, общепризнанным. Перед лицом поступательного движения научного познания церковь отступала все дальше и дальше и раз за разом перестраивала свои доктринальные интерпретации так, чтобы их расхождение с научными открытиями не было слишком вопиющим.

В конце концов к голосу науки стали прислушиваться с тем уважением, граничащим с почтением, которое оказывалось прежде только авторитарным религиозным заявлениям. Революции, которые теоретическая структура науки пережила в последние десятилетия, оставили престиж научного поиска истины непоколебленным. И хотя в последние пять лет порой поднимался крик, что наука оказывает разрушительное воздействие на экономическую организацию и что ее продуктивность, стало быть, надлежит ограничить, если и произошло за этот период какое-то замедление темпов естественно-научных исследований, то, вероятно, оно вызвано в большей степени падением экономического спроса на научную продукцию, нежели намеренной попыткой сдержать научный прогресс ради стабилизации существующего порядка.

В резком контрасте с триумфом естественной науки над теологической и метафизической догмой находится развитие исследований социальной жизни. В то время как эмпирическая процедура пробивала глубокие бреши в догмах древних относительно природы, классические социальные доктрины оказались куда менее восприимчивыми к натиску светского и эмпирического духа. В какой-то мере это, возможно, было обусловлено тем, что у древних знание и теоретизирование о социальных делах намного опережали их познания в физике и биологии. Возможность продемонстрировать практическую полезность новой естественной науки пока еще не пришла, а бесполезность существующих социальных доктрин невозможно было убедительно обосновать. Если логика, этика, эстетика, политика и психология Аристотеля принимались позднейшими эпохами в качестве авторитетных, то его представления об астрономии, физике и биологии все энергичнее отправлялись на свалку древних суеверий.

До начала XVIII в. политическая и социальная теория оставалась под господством категорий мышления, разработанных древними и средневековыми философами и используемых по большей части в теологической рамке. Та часть социальной науки, которая имела хотя бы какую-то практическую пользу, была связана в первую очередь с административными делами. Камералистика и политическая арифметика, представлявшие это течение, ограничивали себя простыми фактами повседневной жизни и редко совершали вылазки в область теории. Следовательно, та часть социального знания, которая была посвящена наиболее спорным вопросам, едва ли могла претендовать на ту практическую полезность, которой в какой-то точке своего развития достигли естественные науки. А те социальные мыслители, от которых только и можно было ожидать прогресса в этой области, не могли рассчитывать на поддержку церкви или государства, в которых находило свою финансовую и моральную опору более ортодоксальное крыло. Чем более секуляризованной становилась социальная и политическая теория и чем основательнее она развеивала освященные мифы, легитимировавшие существовавший политический порядок, тем ненадежнее становилось положение зарождавшейся социальной науки.

Наглядный пример того, сколь различны последствия технологического и социального знания и отношение к ним, представляет нынешняя Япония. Едва открывшись западным влияниям, эта страна начала энергично усваивать технические продукты и методы западной культуры. Между тем социальные, экономические и политические влияния извне даже сегодня встречаются в этой стране подозрительное отношение и упорное сопротивление.

Энтузиазм, с которым в Японии принимают результаты физической и биологической науки, находится в разительном контрасте с осторожностью и сдержанностью в культивировании экономических, политических и социальных исследований. Последние до сих пор по большей части подводятся под то, что японцы называют *kikenshiso*, «опасными мыслями». Обсуждение демократии, конституционализма, императора, социализма и много чего еще властные круги считают опасным, поскольку познания в этих вопросах могли бы разрушить санкционированные верования и подорвать существующий порядок.

Но дабы мы не подумали, что это состояние специфично для Японии, следует подчеркнуть, что многие из тем, проходящих в Японии под рубрикой «опасные мысли», табуировались до недавнего времени и в западном обществе. Даже сегодня открытое, честное и «объективное» изучение самых священных и чтимых институтов и верований остается в любой стране мира более или менее всерьез ограниченным. Например, практически невозможно — даже в Англии и Америке — исследовать, пусть даже и беспристрастно, действительные факты, относящиеся к коммунизму, не рискуя заработать себе ярлык коммуниста.

Следовательно, то, что в каждом обществе есть своя область «опасной мысли», едва ли можно оспорить. Мы признаем, что то, о чем опасно думать, может различаться от страны к стране и от эпохи к эпохе; однако, в целом, темами, отмеченными сигналом опасности, являются те, которые общество или контролирующая его элементы считают настолько жизненно важными и, следовательно, настолько сакральными, что не будут терпеть их профанацию посредством дискуссии. Что не так легко признается, так это то, что даже в отсутствие официальной цензуры мысль оказывает взбудораживающее, а при определенных условиях опасное и разрушительное воздействие. Ибо мышление является каталитическим элементом, который способен расшатывать рутины, дезорганизовывать привычки, разрушать обычаи, подрывать веру и породить скептицизм.

Отличительный характер социально-научного дискурса обнаруживается в том, что всякое утверждение, каким бы объективным оно ни было, содержит в себе смысловые ответвления, простирающиеся за пределы собственно науки. Поскольку каждое «фактическое» утверждение о социальном мире затрагивает интересы какого-нибудь индивида или группы, нельзя даже привлечь внимание к существованию некоторых «фактов», не вызвав возражений со стороны тех, сам *raison d'être* [смысл существования] которых в обществе зиждется на иной интерпретации «фактической» ситуации.

II

Дискуссия вокруг этого вопроса традиционно пользуется известностью как проблема объективности в науке. В языке англосаксонского мира быть объективным значило быть непредвзятым, не иметь никаких предпочтений, пристрастий и предрассудков, никаких предубеждений, обходиться без заранее установленных ценностей или суждений в присутствии фактов. Этот взгляд был выражением старого представления о естественном законе, согласно которому созерцание фактов природы вместо того, чтобы быть окрашенным нормами поведения созерцателя, само автоматически предоставляет эти нормы². После того как подход к проблеме объективности с точки зрения естественного закона отошел на задний план, этот безличностный способ смотреть на факты, как они есть, нашел временную опору в моде на позитивизм. Социальная наука XIX в. полна предостережений против искажающих влияний страсти, политического интереса, национализма и классового чувства и изобилует призывами к самоочищению.

² Именно этому течению мысли, которое впоследствии развилось в социологию знания и которое составляет основное содержание этой книги, мы обязаны прозрением, что политико-этические нормы не только не могут быть выведены из прямого созерцания фактов, но и оказывают формирующее влияние на сами способы восприятия фактов. См., среди прочего, работы Торстейна Веблена, Джона Дьюи, Отто Бауэра и Мориса Хальбвакса.

В сущности, значительную часть истории современной философии и науки можно рассматривать как тенденцию, если не как согласованный порыв, к указанному типу объективности. Это, как предполагалось, подразумевает поиск достоверного знания через устранение предвзятости в восприятии ошибок в рассуждении (в негативном плане), а также через формулировку критически самосознательной точки зрения и развитие надежных методов наблюдения и анализа (в позитивном плане). Хотя на первый взгляд может показаться, что в логических и методологических работах о науке мыслители других наций были активнее, чем англичане и американцы, это представление вполне может быть скорректировано, если привлечь внимание к внушительному ряду мыслителей англоязычного мира, которые занимались этими же самыми проблемами, не называя их специально методологией. Можно со всей определенностью сказать, что интерес к проблемам и трудностям, заключенным в поиске достоверного знания, занимал отнюдь не ничтожное место в трудах целой плеяды блестящих мыслителей от Локка, Юма, Бентама, Милля и Спенсера до авторов нашего времени. Мы не всегда видим в этих трактатках процессов познания серьезные попытки сформулировать эпистемологические, логические и психологические предпосылки социологии знания, поскольку они не несут на себе внятного ярлыка и не задумывались специально в качестве таковых. Тем не менее, всюду, где в научной деятельности присутствовали организованность и самосознание, этим проблемам всегда уделялось много внимания. На самом деле в таких трудах, как «Система логики» Дж. С. Милля и блестящее, но недооцененное «Изучение социологии» Г. Спенсера, проблема объективного социального знания получила прямое и всестороннее освещение. В период, последовавший за работой Спенсера, интерес к объективности социального знания несколько угас под влиянием наследия статистических техник, которое было представлено такими именами, как Фрэнсис Гальтон и Карл Пирсон. Но в наше время труды Грэма Уоллеса и Джона А. Хобсона наряду с прочими свидетельствуют о возрождении этого интереса.

Америка, вопреки невзрачной картине ее интеллектуального ландшафта, которую мы обыкновенно находим в сочинениях европейцев, дала немало мыслителей, посвятивших себя изучению этого вопроса. Выдающейся в этом отношении является работа Уильяма Грэма Самнера. Хотя он подходил к этой проблеме несколько окольно, через анализ влияния народных обычаев и нравов на социальные нормы, а не прямо, через эпистемологическую критику, он, отважно направив внимание на искажающее влияние этноцентризма на знание, поместил проблему объективности в конкретный социологический контекст. К сожалению, его ученики не стали развивать дальше богатые возможности его подхода и интересовались по большей части разработкой других его идей. Довольно близок к нему в трактатке этой проблемы Торстейн Веблен, который в серии блестящих и проницательных очерков

исследовал тонкие связи между культурными ценностями и интеллектуальными деятельностями. Дальнейшее обсуждение того же вопроса в реалистическом ключе можно найти в работе Джеймса Харви Робинсона «*Разум в становлении*» («*The Mind in the Making*»), в которой этот заслуженный историк затрагивает многие из моментов, подробно анализируемых в настоящей книге. А совсем недавно профессор Чарльз Бирд в книге «*Природа социальных наук*» рассмотрел возможности объективного социального знания с педагогической точки зрения, и в том, как он это сделал, прослеживается влияние профессора Мангейма.

Как бы ни был необходим и оправдан акцент на искажающем влиянии культурных ценностей и интересов на знание, этот негативный аспект культурной критики знания достиг той узловой точки, в которой пришлось признать позитивную и конструктивную значимость оценочных элементов в мышлении. Если в прежних дискуссиях об объективности упор делался на устранение личной и коллективной предвзятости, то более современный подход требует внимания к позитивной когнитивной важности этой предвзятости. Если прежние поиски объективности тяготели к полаганию «объекта», отличного от «субъекта», то в наше время усматривается теснейшая связь между объектом и воспринимающим субъектом. Действительно, новейшее воззрение полагает, что объект появляется для субъекта тогда, когда по ходу опыта интерес субъекта оказывается сосредоточен на этом особом аспекте мира. Объективность, таким образом, предстает в двояком значении: с одной стороны, объект и субъект являются дискретными и раздельными сущностями; с другой — подчеркивается взаимодействие (*interplay*) между ними. В то время как объективность в первом смысле относится к надежности наших данных и обоснованности (*validity*) наших заключений, объективность во втором смысле связана с релевантностью нашим интересам. В сфере социального, в частности, истина не есть лишь вопрос простого соответствия между мыслью и существующим; она окрашена интересом исследователя к своему предмету, его точкой зрения, его оценками, короче говоря, определением объекта его внимания. Но это представление об объективности не подразумевает, что отныне никакого различия между истиной и ошибкой установить невозможно. Оно не означает, что какими бы люди ни воображали свои восприятия, установки и идеи и какими бы ни хотелось им выглядеть в глазах других, все это соответствует фактам. Даже при этой концепции объективности мы должны считаться с искажением, производимым не только неадекватным восприятием или неправильным знанием собственного Я, но и неспособностью или неготовностью — в некоторых обстоятельствах — честно отчитываться о восприятиях и идеях.

Это истолкование проблемы объективности, лежащее в основе труда профессора Мангейма, не будет встречено как совершенно чуждое теми, кому знакомо течение в американской философии, представленное именами

Джемса, Пирса, Мида и Дьюи. Хотя подход профессора Мангейма является продуктом иного интеллектуального наследия, ведущие роли в котором играли Кант, Маркс и Макс Вебер, его выводы по многим ключевым вопросам тождественны выводам американских прагматистов. Это сходство, однако, ограничивается областью социальной психологии. Из числа американских социологов эту точку зрения эксплицитно выражали покойный Чарльз Х. Кули и Р. М. Макайвер, а имплицитно — У.А. Томас и Роберт Э. Парк. Одна из причин, по которым мы напрягаем не связываем работы этих авторов с проблемным комплексом, разбираемым в настоящей книге, заключается в том, что в Америке социология знания систематически и эксплицитно занимается тем, что в рамках социальной психологии как специальной дисциплины затрагивается лишь случайно или остается неиспользованным побочным продуктом эмпирического исследования.

Поиск объективности создает особенно трудные проблемы при попытке установить строгий научный метод в изучении социальной жизни. Если, имея дело с объектами физического мира, ученый вполне может ограничиваться теми внешними единообразиями и регулярностями, которые он в нем находит, не пытаясь проникнуть во внутренний смысл феноменов, то в социальном мире он ищет прежде всего понимания этих внутренних смыслов и связей.

Возможно, на самом деле есть какие-то социальные феномены и, может быть, какие-то аспекты всех социальных событий, на которые можно смотреть извне, как если бы это были вещи. Но это не должно вести к выводу, что только эти манифестации социальной жизни, находящие выражение в материальных вещах, реальны. Было бы слишком узким пониманием социальной науки ограничение ее компетенции только теми конкретными вещами, которые могут быть восприняты извне и измерены.

Литература по социальной науке обильно демонстрирует, что имеются большие и вполне отчетливо очерченные сферы социального существования, в которых возможно достичь научного знания, не только являющегося надежным, но и имеющего важное значение для социальной политики и действия. Из того, что люди отличаются от других объектов природы, не вытекает, что о них нельзя сказать ничего определенного. Несмотря на то, что люди проявляют в своих действиях особый род причинности, не проявляемый никакими другими объектами в природе, а именно мотивацию, мы все-таки должны признать, что устойчивые причинные последовательности должны полагаться как имеющие отношение не только к физическому миру, но и к миру социальному. Конечно, можно было бы возразить, что точное знание, которое мы имеем о причинных последовательностях в других сферах, в социальной сфере еще не установилось. Но если вообще возможно знание, выходящее за рамки чувственного ощущения уникальных и мимолетных текущих событий, то возможность открытия общих тенденций и предсказуемых

последовательностей событий, аналогичных тем, которые обнаруживаются в физическом мире, должна быть постулирована и для социального мира тоже. При этом детерминизм, предполагаемый социальной наукой и столь понятно трактуемый в книге профессора Мангейма, отличается по типу от того, который содержится в небесной механике Ньютона.

Разумеется, есть социальные ученые, утверждающие, что наука должна ограничиваться причинной связью между действительными феноменами, что науку интересует не то, что следует сделать или надлежит сделать, а то, что можно сделать и как это можно сделать. Согласно этому взгляду, социальная наука должна быть исключительно инструментальной, а не целеполагающей дисциплиной. Но при изучении того, что есть, мы не можем целиком исключить то, что должно быть. В человеческой жизни мотивы и цели действия являются частью процесса, посредством которого действие совершается, и существенны для рассмотрения связи частей с целым. Без цели большинство актов не имело бы никакого смысла и не представляло бы для нас ни малейшего интереса. Тем не менее существует разница между принятием целей в расчет и их полаганием. Насколько бы ни была возможной полная отстраненность при обращении с физическими вещами, в социальной жизни мы не можем позволить себе игнорировать ценности и цель актов, не упуская из виду значимость многих фактов. В нашем выборе областей для изучения, в нашем отборе данных, в нашем методе исследования, в нашей организации материалов, не говоря уже о формулировке наших гипотез и выводов, всегда находит выражение некоторое более или менее ясное, эксплицитное или имплицитное ценностное допущение, или некоторая схема оценивания.

Соответственно имеется обоснованное различие между объективными и субъективными фактами, которое проистекает из различия между внешним и внутренним наблюдением, или, если взять термины Уильяма Джемса, между «знанием о» и «знакомством с». Если существует разница между физическими и ментальными процессами — а видимо, есть мало оснований говорить, что этого важного различия не существует, — то этим предполагается соответствующая дифференциация в способах познания этих двух родов феноменов. Физические объекты могут познаваться (а естественная наука глядит на них исключительно так, как если бы они могли быть познаны) сугубо извне, тогда как ментальные и социальные процессы могут познаваться только изнутри, если не брать в расчет, что они также внешне проявляют себя через физические признаки (*indexes*), в которые мы, в свою очередь, вкладываем значения. Стало быть, инсайт можно рассматривать как ядро социального знания. Его достигают, находясь внутри наблюдаемого феномена, или, по словам Чарльза Х. Кули, путем симпатической интроспекции. Именно участие в деятельности порождает интерес, цель, точку зрения, ценность, смысл и понятность, но вместе с тем и пристрастность.

Поскольку социальные науки, стало быть, заняты объектами, имеющими смысл и ценность, то наблюдатель, пытающийся их понять, с необходимостью должен делать это при помощи категорий, которые, в свою очередь, зависят от его собственных ценностей и смыслов. Эта мысль снова и снова высказывалась в многолетнем споре между обосновавшимися в кругу социальных ученых бихевиористами, которые изучали социальную жизнь исключительно так, как ученый-естественник изучает физический мир, и теми, кто встал на позицию симпатической интроспекции и понимания, придерживаясь принципов, которые были выдвинуты таким автором, как Макс Вебер.

Но, в целом, хотя оценочный элемент в социальном познании получил формальное признание, конкретному анализу роли действительных интересов и ценностей, выраженных в конкретных исторических доктринах и движениях, уделялось относительно мало внимания, что особенно касается английских и американских социологов. Исключение нужно сделать лишь для марксизма, однако он, возведя этот вопрос в ранг центрального, так и не сформулировал удовлетворительного систематического решения этой проблемы.

Именно в этом пункте вклад профессора Мангейма знаменует важный шаг вперед по сравнению с тем, что было сделано раньше в Европе и Америке. Вместо того, чтобы удовлетвориться обращением внимания на тот факт, что интерес неизбежно сказывается на всем мышлении, включая ту его часть, которая зовется наукой, профессор Мангейм попытался конкретно проследить связь между действительными группами интересов в обществе и теми идеями и способами мышления, которые они поддерживают. Ему удалось показать, что идеологии, т.е. комплексы идей, направляющие деятельность на поддержание существующего порядка, и утопии, т.е. комплексы идей, имеющие тенденцию порождать деятельность, направленную на изменение существующего порядка, не просто отвлекают мышление от объекта наблюдения, но также способствуют фиксации внимания на тех аспектах ситуации, которые в противном случае не были бы различены и замечены. Так из общетеоретической формулировки он выковал эффективное орудие для плодотворных эмпирических исследований.

Осмысленный характер поведения, между тем, не служит основанием для вывода, что это поведение непременно является продуктом сознательной рефлексии и рассуждения. Наше стремление понять проистекает из действия и даже может быть сознательной подготовкой к дальнейшему действию, но мы должны признать, что сознательная рефлексия, или то проигрывание (*rehearsal*) ситуации в воображении, которое мы называем «мышлением», не является необходимой частью каждого акта. И в самом деле, у социальных психологов, по-видимому, сформировалось общее согласие в том, что идеи не порождаются самопроизвольно и что акт, несмотря на утверждения устаревшей психологии, предшествует мышлению. Разум, сознание и совесть проявляются, как правило, в ситуациях, отмеченных конфликтом. Следова-

тельно, профессор Мангейм рассуждает созвучно растущему числу тех современных мыслителей, которые вместо постулирования чистого интеллекта интересуются действительными социальными условиями, в которых рождаются интеллект и мысль. Если (а это, видимо, и в самом деле так) мы не просто обуславливаемся событиями, которые происходят в нашем мире, но и одновременно являемся инструментами их упорядочения, то отсюда следует, что цели действия никогда не могут быть полностью сформулированы и определены, пока акт не закончен или не сведен к автоматическим рутинам настолько полно, что уже не требует ни сознания, ни внимания.

Тот факт, что в царстве социального наблюдатель является частью наблюдаемого и, следовательно, имеет личную заинтересованность (*personal stake*) в предмете наблюдения, есть один из главных факторов, обостряющих проблему объективности в социальной науке. Вдобавок к этому мы должны учитывать тот факт, что социальная жизнь и, следовательно, социальная наука всеобъемлющим образом привязаны к представлениям о целях действия. Когда мы что-то защищаем, мы делаем это не как полные аутсайдеры по отношению к тому, что есть и что будет происходить. Было бы наивно предполагать, что наши идеи целиком и полностью формируются объектами нашего созерцания, лежащими вне нас, или что наши желания и наши страхи не имеют никакого отношения к тому, что мы воспринимаем, или к тому, что будет происходить. Ближе к истине было бы признание того, что те базовые импульсы, которые обычно обозначались как «интересы», реально являются силами, не только порождающими цели нашей практической деятельности, но и фокусирующими наше интеллектуальное внимание. Если в некоторых сферах жизни, особенно в экономике и в меньшей степени в политике, эти «интересы» эксплицируются и артикулируются, то в большинстве других сфер они сокрыты где-то в глубине и прячутся в таких конвенциональных формах, что мы не всегда распознаем их даже тогда, когда на них заостряют наше внимание. И потому самым важным, что мы можем узнать о человеке, является то, что он принимает на веру (*takes for granted*), а самыми элементарными и важными фактами касательно общества являются те, которые редко обсуждаются и обычно считаются самоочевидными.

Но тщетно мы ищем в современном мире ту безмятежность и тот покой, которые, по-видимому, характеризовали атмосферу, в которой жили некоторые мыслители минувших эпох. Мир больше не имеет общей веры, а наша мнимая «общность интересов» едва ли есть нечто большее, чем просто фигура речи. С утратой общей цели и общих интересов мы остались без общих норм, способов мышления и представлений о мире. Даже общественное мнение оказалось лишь набором «фантомных» публик. Возможно, люди прошлого жили в меньших по размеру и более ограниченных мирах, но миры, в которых они жили, явно были более стабильными и интегрированными для

всех членов сообщества, нежели тот разросшийся универсум мыслей, действий и мнений, в котором довелось жить нам.

Общество возможно в конечном счете постольку, поскольку индивиды, в него включенные, носят в своих головах некоторую картину этого общества. Между тем наше общество в нынешнюю эпоху мельчайшего разделения труда, крайней гетерогенности и глубинного конфликта интересов вошло в состояние, когда эти картины невняты и внутренне дисгармоничны. Поэтому мы уже не воспринимаем в качестве реальных одни и те же вещи, и вместе с нашим исчезающим чувством общей реальности мы теряем наше общее средство для выражения и передачи другим наших переживаний. Мир оказался расколот на бесчисленные фрагменты атомизированных индивидов и групп. Раздробление цельности индивидуального опыта соответствует дезинтеграции в культуре и в групповой солидарности. Когда основания единого коллективного действия начинают ослабевать, социальная структура обычно рушится и производит то состояние, которое Эмиль Дюркгейм называл *anomie*; под ней подразумевается ситуация, которую можно было бы описать как своего рода социальный вакуум, или пустоту. В таких условиях ожидаемыми феноменами становятся суицид, преступность и беспорядок, поскольку индивидуальное существование более не укоренено в стабильной и интегрированной социальной среде, и значительная часть жизнедеятельности теряет свой смысл и значение.

То, что интеллектуальная деятельность не свободна от таких влияний, действенно документируется этой книгой. Если можно сказать, что у этой книги есть некая практическая цель, помимо накопления и упорядочения свежих прозрений относительно предпосылок, процессов и проблем интеллектуальной жизни, то она состоит в исследовании перспектив рациональности и общего понимания в эпоху, подобную нашей, которая, похоже, слишком часто отдает приоритет иррациональности и в которой возможности взаимопонимания, по всей видимости, исчезли. Если в прежние эпохи интеллектуальный мир имел, по крайней мере, общую систему координат (*frame of reference*), предлагавшую участникам некоторую меру уверенности в этом мире и дававшую им чувство взаимного уважения и доверия, то современный интеллектуальный мир больше не является космосом, а являет взору поле брани, на котором сражаются партии и конфликтуют доктрины. Дело не сводится к тому, что каждая из борющихся фракций имеет собственный набор интересов и целей; все обладают, вдобавок к этому, своими особыми картинами мира, в которых одним и тем же объектам придаются совершенно разные значения и ценности. В таком мире возможности внятной коммуникации и, *a fortiori*, согласия сводятся к минимуму. Отсутствие общей апперцепции уменьшает возможность обращения к одним и тем же критериям релевантности и истины, и поскольку мир скрепляется воедино в значительной мере словами, а эти слова сегодня перестают

ли значить для тех, кто ими пользуется, одно и то же, то отсюда следует, что люди неизбежно будут не понимать друг друга и разговаривать без понимания друг друга.

Кроме этой внутренней неспособности понимать друг друга, существует еще одно препятствие для достижения консенсуса: упрямый отказ фанатиков принимать в расчет или воспринимать всерьез теории своих оппонентов просто потому, что те принадлежат к другому интеллектуальному или политическому лагерю. Это гнетущее положение дел усугубляется тем, что интеллектуальный мир не свободен от борьбы за личное превосходство и власть. Это привело к проникновению в царство идей ухищрений торгового духа и вызвало состояние, когда даже ученые предпочитают вставать на правильную сторону вместо того, чтобы быть правыми.

III

Если угроза утраты нашего интеллектуального наследия тревожит нас сегодня больше, чем в предыдущие культурные кризисы, то это потому, что мы стали жертвами более грандиозных ожиданий. Ибо никогда прежде не было так много людей, обретших возможность погрузиться в возвышенные мечтания о благах, которые может принести человечеству наука. Это размывание, казалось бы, прочных оснований знания и разочарование, которое за ним последовало, подтолкнули некоторые «тонкие натуры» к романтической тоске по ушедшей эпохе и безвозвратно потерянной определенности. Другие, столкнувшись с недоумением и растерянностью, пытаются игнорировать или обходить стороной двусмысленности, конфликты и неясности интеллектуального мира, прибегая к юмору, цинизму или откровенному отрицанию жизненных фактов.

В такой момент человеческой истории, как наш, когда люди во всем мире не просто обеспокоены, а сомневаются в основах социального существования, достоверности своих истин и надежности своих норм, должно стать ясно, что не существует никакой ценности отдельно от интереса и никакой объективности отдельно от согласия. В таких обстоятельствах трудно твердо придерживаться того, что считаешь истиной, перед лицом несогласия, и возникает склонность к сомнению в самой возможности интеллектуальной жизни. Несмотря на то, что западный мир вскормлен традицией дорого доставшейся интеллектуальной свободы и честности, насчитывающей более двух тысяч лет, люди начинают спрашивать, стоила ли борьба за их обретение заплаченной цены, если сегодня столь многие безропотно принимают угрозу уничтожения всего того, что было достигнуто в человеческих делах благодаря рациональности и объективности. Широко распространившееся обесценивание мышления, с одной стороны, и его подавление — с другой, являются зловещими признаками сгущающихся сумерек современной культуры. Такую катастрофу можно отвести лишь максимально продуманными и решительными мерами.

«Идеология и утопия» сама является продуктом этого периода разброда и неустроенности. Одним из вкладов, которые она вносит в выход из нашего затруднительного положения, служит анализ сил, его вызвавших. Сомнительно, чтобы такая книга, как эта, могла быть написана в какой-либо иной период, ибо вопросы, которые в ней рассматриваются, при всей их фундаментальности, могли быть подняты только в таком обществе и только в такую эпоху, которые отмечены глубоким социальным и интеллектуальным переворотом. В ней не предлагается простого решения тех затруднений, с которыми мы сталкиваемся, но она формулирует ключевые проблемы так, что они становятся доступными для изучения, и идет в анализе нашего интеллектуального кризиса дальше, чем это когда-либо делалось до сих пор. Перед лицом утраты общего понимания проблем и в отсутствие единодушно принимаемых критериев истины профессор Мангейм попытался наметить направления, в которых можно строить новую основу для объективного исследования спорных вопросов социальной жизни.

До сравнительно недавнего времени знание и мышление признавались законным предметом логики и психологии, но рассматривались как лежащие вне сферы социальной науки, так как их не считали социальными процессами. Хотя некоторые из идей, выдвигаемых профессором Мангеймом, вытекают из постепенного развития критического анализа процессов мышления и являются неотъемлемой частью научного наследия западного мира, особое достоинство его книги состоит, пожалуй, в ясном признании того, что мышление, будучи законным предметом логики и психологии, становится полностью понятным, только если его рассматривать социологически. Это означает прослеживание оснований социальных суждений до их специфических корней в обществе, связанных с интересами, посредством чего обнаруживается партикулярность и, стало быть, ограниченность любого воззрения. Не следует полагать, что уже само выявление этих расходящихся углов зрения будет автоматически заставлять антагонистов принимать представления друг друга, и что это будет непосредственно увенчиваться универсальной гармонией. Однако прояснение источников этих различий, по-видимому, есть предпосылка всякого осознания каждым из наблюдателей ограниченности собственного воззрения и по крайней мере частичной валидности воззрений других. Это необязательно означает отказ от собственных интересов, но делает возможным как минимум рабочее согласие по поводу того, каковы относящиеся к делу факты, и по поводу ограниченного набора выводов, которые из этих фактов делаются. Примерно таким предварительным способом социальные ученые, при всех разногласиях касательно высших ценностей, могут строить сегодня мир дискурса, в рамках которого они смогут видеть объекты в схожих перспективах и передавать друг другу свои результаты с минимумом двусмысленности.

IV

Прямо и ясно поставить проблемы, кроющиеся в отношениях между интеллектуальной деятельностью и социальным существованием, — само по себе большое достижение. Но профессор Мангейм на этом не остановился. Он признал, что заключенные в человеческом духе факторы, приводящие разум в движение и возмущающие его, — это те же динамические факторы, которые являются движущими силами всякой человеческой деятельности. Вместо того, чтобы постулировать гипотетический чистый интеллект, который производит и осуществляет истину без осквернения ее так называемыми нелогическими факторами, он реально приступил к анализу конкретных социальных ситуаций, в которых имеет место мышление и осуществляется интеллектуальная жизнь.

«Социология знания» исторически и логически принадлежит к сфере общей социологии, понимаемой как основополагающая социальная наука. Если бы темы, обсуждаемые профессором Мангеймом, получили систематическую разработку, то социология знания должна была бы стать специализированной попыткой интегрированного рассмотрения — с объединяющей точки зрения и при помощи соответствующих методов — целого ряда предметов, которых мы до сих пор касались лишь походя и по отдельности. Было бы преждевременно определять, какие очертания примет со временем эта новая дисциплина. Однако покойный Макс Шелер и профессор Мангейм пошли в своих трудах достаточно далеко, чтобы можно было дать предварительную формулировку основных вопросов, которыми она должна заниматься.

Первая и основополагающая ее задача — социально-психологическая разработка теории познания, которая до сих пор фигурировала в философии в форме эпистемологии. На протяжении всей известной нам истории мысли этот предмет постоянно притягивал внимание великих мыслителей. Несмотря на многовековые попытки разобраться в том, как связаны друг с другом опыт и рефлексия, факт и идея, мнение и истина, проблема взаимосвязи между бытием и познанием продолжает стоять перед современным мыслителем. Но теперь она перестала быть исключительным достоянием профессионального философа. Она стала центральной проблемой не только для науки, но и для образования и политики. Социология знания рассчитывает внести свой вклад в более глубокое понимание этой вековой тайны. Подобная задача требует не просто применения прочно установленных логических правил к наличному материалу, ибо здесь принятые логические правила сами ставятся под вопрос и делаются предметом рассмотрения — наряду с прочими нашими интеллектуальными орудиями — как части и продукты всей целостности нашей социальной жизни. Она требует выяснения мотивов, стоящих за нашей интеллектуальной деятельностью, и анализа того, как и в какой степени на мыслительные процессы влияет участие мыслителя в жизни общества.

Тесно связанная с этим область интереса для социологии знания кроется в переработке данных интеллектуальной истории с целью обнаружения стилей и методов мышления, преобладающих в определенных типах исторических социальных ситуаций. В связи с этим принципиально важно исследовать сдвиги интеллектуального интереса и внимания, которыми сопровождаются изменения в других сторонах социальной структуры. И здесь проводимое профессором Мангеймом различие между идеологиями и утопиями дает многообещающие ориентиры для исследовательской работы.

Анализируя ментальность какого-то исторического периода или слоя в обществе, социология знания изучает не просто идеи и способы мышления, которым довелось в них расцвести, а всю социальную обстановку, в которой это происходит. В этой обстановке содержатся факторы, ответственные за принятие или отторжение определенными группами в обществе определенных идей, а также за принятие или отторжение ими мотивов и интересов, подталкивающих их к сознательному продвижению этих идей и распространению их в более широких слоях населения.

Кроме того, социология знания стремится пролить свет на вопрос о том, как интересы и цели определенных социальных групп находят выражение в соответствующих теориях, доктринах и интеллектуальных движениях. Для понимания любого общества принципиально важны значимость, придаваемая в нем различным типам знания, и доля общественных ресурсов, вкладываемая в культивирование каждого из них. Столь же важен анализ сдвигов в социальных отношениях, к которым приводят прогресс в определенных отраслях знания (таких, как техническое знание) и растущее господство над природой и обществом, становящееся возможным благодаря применению этого знания. Кроме того, социология знания, в силу своего интереса к роли знания и идей в поддержании или изменении социального порядка, должна уделять серьезное внимание инстанциям и механизмам, посредством которых распространяются идеи, и тому, в какой мере существует свобода исследования и самовыражения. Внимание должно фокусироваться на том, какие типы образовательных систем существуют и как каждый из них отражает и формирует общество, в котором он действует. Здесь важное место занимает проблема индоктринации, активно обсуждаемая в последнее время в литературе по педагогике. Таким же образом дается надлежащее толкование функциям прессы, популяризации знания и пропаганды. Адекватное понимание такого рода феноменов поможет составить более точное представление о роли идей в политических и социальных движениях, а также о ценности знания как инструмента контроля над социальной реальностью.

Несмотря на огромное число специализированных описаний социальных институтов, первичная функция которых тесно связана с интеллектуальными деятельностями в обществе, адекватной теоретической трактовки социальной организации интеллектуальной жизни до сих пор не существует.

А стало быть, одна из первейших обязанностей социологии знания состоит в систематическом анализе той институциональной организации, в рамках которой развертывается интеллектуальная деятельность. Это подразумевает, помимо всего прочего, изучение школ, университетов, академий, ученых обществ, музеев, библиотек, исследовательских институтов и лабораторий, фондов и издательств. Важно знать, как и кем эти институты поддерживаются, какие типы деятельности ими осуществляются, каковы их политические программы, внутренняя организация и взаимосвязи и какое место они занимают в социальной организации в целом.

И наконец, социологию знания, причем во всех ее аспектах, интересуют люди, являющиеся носителями интеллектуальной деятельности, а именно интеллектуалы. В каждом обществе есть индивиды, особая функция которых состоит в накоплении, сохранении, переформулировании и распространении интеллектуального наследия своей группы. Состав этой группы, социальное происхождение ее членов и способ их рекрутирования, их организация, их классовая принадлежность, вознаграждения и престиж, которые они получают, их участие в других сферах социальной жизни — вот некоторые из важнейших вопросов, на которые социология знания пытается найти ответы. То, как эти факторы выражаются в продуктах интеллектуальной деятельности, составляет главную тему всех исследований, проводимых от имени социологии знания.

В *«Идеологии и утопии»* профессор Мангейм не просто прорисовывает очертания новой дисциплины, обещающей дать новое, более основательное понимание социальной жизни; он предлагает также крайне нужное прояснение некоторых главных моральных вопросов нашего времени. В надежде на то, что эта книга внесет некоторый вклад в решение проблем, с которыми сталкиваются мыслящие люди в англоязычном мире, мы ее и перевели.

Пер. с англ. В.Г. Николаева